

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

АЛЫЙ МЕЧ

Зинаида Гиппиус

Алый меч

«Public Domain»

1906

Гиппиус З. Н.

Алый меч / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1906

«Путешественники – Федор Анатольевич Беляев и друг его, Алексей Иванович Новиков – приехали в Петербург рано утром. Был конец января, дни светлели, морозило не сильно...»

© Гиппиус З. Н., 1906

© Public Domain, 1906

Содержание

I	5
II	7
III	10
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Зинаида Гиппиус

Алый меч

I

Дрезден, 17 января 1900

Люся, дорогая моя девочка! До последнего дня боялся написать, но теперь напишу, теперь уже, кажется, верно, – еду в Россию! Алеша со мной, конечно. Голубчик, душа у меня плачет от радости, как подумаю, что скоро тебя увижу, – после двух лет самой бессмысленной разлуки... (прости, ты знаешь, я так именно думаю). И все недоразумения кончатся. Что нам играть в прятки, сестренка! Были между нами недоразумения, были. Разве эти два года – не недоразумение? Разве письма твои ко мне и к Алеше – не недоразумение? Разве то, что я ничего не знаю о тебе, – ни о твоей внутренней, ни даже о твоей внешней жизни – не самое ужасное, нелепое недоразумение? Мы три года жили все вместе за границей, у нас была общая работа, общие мысли, общие надежды; тем драгоценнее это было, что мы все-таки – три разных человека, с различными душами. И ты не могла не знать, как ты нам была нужна, и даже не нам, а этим нашим общим мыслям и надеждам. Милая, когда я смотрю на твою громадную, неоконченную статую (она в Алешинной мастерской) – я верю, что мог бы создать храм, достойный этого Бога; но тебя нет, и я теряю половину моей силы. Помнишь, – как ты спорила с Алешей? Алеша – живописец, но вы, в сущности, так близки: у него тусклые, странные краски, он весь – в чертах и формах. Художник, скульптор и архитектор, слитые, свитые, как мы были – не есть ли это драгоценный дар небес, соединение, дающее право бытия самым дерзким надеждам? Ты знаешь, как я верю в Алешу; я верил и в себя, и в мое искусство; в тебя? не хочу и повторять... Но вот все оборвалось. С тобой – точно камень вынули из основания нашего дворца.

Я до сих пор не знаю и не понимаю хорошенько, зачем ты уехала, а главное, почему не возвратилась через месяц, как было решено. Ну, уехала ты потому, что муж твой умер, потому что мать мужа заболела и звала тебя. Но с мужем ты разошлась давно, мать его, Вера Васильевна, никогда не была тебе особенно близка. Дела затянулись? Но в месяц-два все-таки можно было их кончить. Вера Васильевна не выздоровела вполне: но разве некому ходить за ней? Она не одна, при ней второй сын и дочь – девушка. Что же случилось? Ты никогда не писала мне определенно, как живешь в Петербурге, над чем работаешь теперь. Только раз, полуслучайно, вскользь, выбрала нас мечтателями, созерцателями, сказала, что мы жизни не знаем, а жизнь проще, суровее и необходимее, чем ты думала. Милая! Ну, конечно, мы мечтатели и не умеем жить, – но разве уже не много то, что мы это сознали, и даже мечтаниям нашим хотим придать самую реальную форму, воплотить их, – сообразно нашим способностям и силам? Но нельзя отречься и от своего первого свойства – созерцания. Знаешь, было бы хорошо, если б была такая молитва: Господи, Ты, Кто владеешь жизнью моей! Дух неверия, самоневерия, разделенности, одиночества – не дай мне; дух же созерцания и деяния, разумения, чувствования и тишины – подай мне, человеку Твоему...

Прости, милая, ты не любишь длинных писем (оттого, может, и о себе не писала?), а я совсем с тобой заговорился. И о нашем приезде ничего путем не сказал. Пора, пора домой! Мы оба поняли, что здесь нам больше не для чего оставаться, что надо домой, в Россию, надо там учиться и там работать, ибо все ученье и вся работа, в сущности, были для нее же. Слышала ли ты, что в N предвидятся работы по восстановлению старинного храма? Поеду сначала в Петербург, потом туда, может быть, найдется работа и для меня. Вот необходимая нам школа. Мне писали, что кое-что возможно устроить. Это ведь не сейчас, успеем многое увидеть, освежить, понять. Алеша, конечно, со мною, и ты с нами. Как Алеша, будучи живописцем, близок тебе, скульптору, – так ты, в сущности, близка мне, входишь в меня, в архитектуру. Да, Люся милая, мы тем и можем быть сильны, что мы, в специальном смысле слова, не скульпторы, не архитекторы, не живописцы и даже не художники, не только художники, не помещаемся мы в рамках «чистого» искусства... просто черт нас знает, что мы такое, а возможно, что и сила.

Ну, жури брата за предеззостные слова! А все-таки верь во всех нас.

Ты меня не баловала. Алеше же и вовсе перестала писать. А ведь он тебя любит... не меньше, чем я, хотя, конечно, и не так, как я. Да что теперь об этом! Скоро, скоро увидимся! Где нам остановиться? Я совсем отвык от Петербурга, ничего не знаю. Не приготовишь ли нам помещения, если тебе не трудно? Еще успеешь написать сюда строчку. О дне и часе прибытия телеграфируем. Позаботься о твоих нежизненных брате и друге и прости их беспомощность. Люся, детка моя, неужели увижу тебя наконец? И верю, и не верю...

Твой Федя.

На это письмо Федор Анатольевич Беляев получил от сестры ответ очень скоро.

СПб.

19 21.XII-00

Дорогой Федя. Очень рада, что ты и Алексей Иванович приезжаете в Петербург. Комнаты я вам возьму на Владимирской, д. 31, кв. 13. Проезжайте туда прямо. О дне приезда прошу телеграфировать. Длинное письмо твое прочла с большим удовольствием, спасибо, во многом оно меня душевно задело. До скорого свидания. Обнимаю тебя.

Любящая тебя сестра Люся.

II

Путешественники – Федор Анатольевич Беляев и друг его, Алексей Иванович Новиков – приехали в Петербург рано утром. Был конец января, дни светлели, морозило не сильно.

– Она не поедет в такую рань на вокзал, Алеша, – говорил Беляев. – Да оно и лучше. Умоемся, отдохнем, позавтракаем – она придет.

На вокзале их, действительно, никто не встретил. Справившись с багажом, друзья сели в санки и поехали на Владимирскую.

– Ничуть не изменилась наша северная столица за эти годы, – с легкой брезгливостью сказал Новиков. – Те же плоские улицы, желтые казармы, грязный снег, да скука...

Беляев взглянул на него строго.

– Нехорошо встречаешь родину, Алеша. Ведь это все равно, если б ты матери сказал после разлуки: «А ты так и не похорошела! Старуха безобразная».

– Ну, прости. Не буду. Воздержусь. Хотя ты, Федя, для меня слишком сентиментален.

Беляев улыбнулся и ничего не ответил. Ему было холодно в заграничном пальто, но весело, и Петербургу он был рад.

Он сбоку поглядывал на своего приятеля, ему хотелось, чтобы и он радовался. Алексей Новиков был довольно красив. Ему шел уже двадцать девятый год, но в чертах его осталось что-то не то юношеское, не то женственное; зеленоватые глаза он шурил, лицо у него было смуглое, бледное, узкое, черная узкая бородка не кудрявилась. Слишком маленький рот под незакрывающимися его усами складывался иногда в капризную, брезгливую улыбку, но в тонких бровях лежала почти неприятная серьезность. Беляев был старше, полнее, плотнее; золотистая борода – окладистее, взгляд – живее и добрее. В них обоих было что-то останавливающее внимание, особенно когда они были вместе.

– Знаешь, Алеша, я замерз. А ты? Да вот, кажется... стой, здесь, приехали!

– Дом довольно неприятный, – сказал Алеша, выходя. Внутри дом оказался еще неприятнее. Квартира номер тринадцатый была – просто меблированные комнаты, грязноватые. Люся взяла им два номера рядом, одинаковые, маленькие и узкие.

– Что это, правда, за конуры? – заворчал и веселый Беляев. – Уже была ли тут Люся? Положим, мы потом сами поищем, да первое-то впечатление, жалко, будет скверное.

К счастью, нашлись две другие комнаты, почище, на улицу, спальня с двумя постелями и довольно просторный, хотя скучный, «салон».

Друзья спросили кофе и принялись устраиваться.

– Мы все-таки здесь не останемся, – говорил Алеша. – Я эту улицу терпеть не могу. Найдем квартирку где-нибудь на Сергиевской, на Шпалерной... Я жил на Шпалерной.

– Да, пожалуй, придется. Раньше Пасхи, то есть начала апреля, вряд ли выберемся из Петербурга. А не сидеть же сложа руки. Нам и свет небесный нужен.

К завтраку никто не пришел. Рядом, за стеной, пробило два, потом три часа.

– Однако твоя сестрица не очень спешит увидеть нас, – сказал Новиков. – И долго ли нам дожидаться ее в этом подземелье? Пройтись хоть по улице.

– Как ты дурно сказал, Алеша! Не люблю твоего тона. Просто не получила телеграммы. Подождем до четырех, а потом отправимся к ней. Я потому не хотел идти к ней с самого начала, что она живет не одна, с этой Верой Васильевной, Вера же Васильевна больная... До четырех подождем, Алеша...

Как раз в эту минуту дверь отворилась и в комнату вошла, почти вбежала, молодая женщина в черном.

– Не надо ждать до четырех, Федя, потому что я уже пришла. Заждались? Сердились? Она весело закинула руки, обняла и поцеловала брата.

– Здравствуйте, Алексей Иванович.

Новиков подошел к ней, и, казалось, оба они одно мгновение были в нерешимости, не поцеловаться ли им. Но тотчас же она протянула ему руку, без перчатки, которую он и поцеловал.

– Ну, рада вам, мои милые, – говорила Люся, снимая шляпу и усаживаясь. – Батюшки, как Федя потолстел! Алеша все такой же, – прибавила она с ласковой обмолвкой.

– Какие ты нам, однако, палаты приготовила...

– А что? Недоволен? Не все ли равно! То-то я вижу, вы переменяли. Давайте чаю спросим, потолкуем. Давно не видались. Отвыкли, я думаю, друг от друга.

Она говорила много в эту первую минуту свиданья, но видно было, что она вообще не говорлива и сдержанна.

– Дай посмотреть на себя, – сказал Беляев, подходя к ней. – Ничего. Ничего. Похудела немножко. И прическа другая, глаже. Еще больше на Алешу стала походить.

Люся усмехнулась. Она была красива, гораздо красивее Алеши, хотя, действительно, в их лицах было что-то общее. Всякий скорее принял бы ее за сестру Новикова, чем Беляева. Узкое, смуглое лицо, все черты – узкие и прямые; маленький рот; только глаза у нее были другие, светло-серые и прозрачные. Темные волнистые волосы, не очень густые, ложились ровно вдоль худеньких щек.

Принесли большой мутный самовар и стаканы.

– Я буду хозяйничать, вы – гостья, – сказал Новиков и ловко стал распорядиться с чаем, от которого, впрочем, отвык за границей.

Федор Анатольевич сел рядом с сестрой и не спускал с нее пристального и доброго взгляда.

– Как же ты живешь, Люся? – спросил он серьезно. – Отчего не пришла утром?

– Я занята была до трех.

– Занята? Ты много работаешь? Хорошая у тебя мастерская?

– У меня нет мастерской.

– Как нет? Ты лепишь у себя?

– Ах, да нет! – сказала Люся устало, поднялась и прошла по комнате. Лицо у нее сделалось неприятное, застывшее. Потом она повернулась и произнесла с некоторым усилием веселости:

– Узнаю тебя! С первой минуты – допросы! Что, как, где... Впрочем, если бы не ты, допрос начал бы Алексей Иванович. Он уж совсем деловитый мечтатель. А на меня ваша деловитость дурно действует. Мне отрадно было идти к вам, хотелось поговорить о чем-то совсем ином, не о вас и не о себе, о далеком, о бесполезном... А вы...

– Люся, Бог с тобой! Не ты ли упрекала нас в том, что мы жизни не любим? И говоришь так, точно ты в театр шла, посмотреть на нас. Точно ты не наша, не мы же...

– Ну, все равно. Прости, – сказала Люся. – Ты знаешь, мне всегда было скучно говорить о себе. Но теперь, конечно, надо. Я ни о чем не писала. Простите, Алексей Иванович, дорогой, – и вам не писала. Словом – вот что: я бросила скульптуру.

– Ты? Нет, Люся, это вздор. Я не верю.

– Не верь, пожалуй. Однако это так.

– Можно узнать, почему? – спросил Новиков.

– Алексей Иванович, прошу вас, без иронии. Я ее не выношу. Я оставила искусство потому, что... во-первых... я бездарна...

– Давно вас стал занимать этот вопрос? – сказал опять Новиков.

Но Люся продолжала, не слушая:

– Я бездарна, – по всем вероятностям; я жила странно, жила «мимо» жизни, – понимаете? Углубленная в себя, только с собой да с вами, не видя, как живут и страдают рядом другие;

а их так много! И страдают они просто, и помогать им нужно просто, сейчас, сию минуту, чем можешь, реально... Нужны ли им мои, может быть еще бездарные, статуи? А кое-что другое от меня им нужно. И лучше понять это вовремя, лучше пойти в чернорабочие, делать, что можешь, чем упиваться мечтами и любоваться своими произведениями... искусства. Я женщина – и я не глупа. Мне нужен был внутренний толчок, чтобы понять, где мое место. И я поняла, что мое место – черная, упорная, простая работа в жизни, а не заоблачные мечтанья в искусстве.

Она перевела дух. Федор Анатольевич глядел на нее в изумлении. Новиков встал.

– Это, конечно, приговор и нам, Елена Анатольевна, – сказал он. – То есть, вы думаете, что это и наш приговор.

– Постой, постой, Алеша, – вмешался Беляев. – Мы отвыкли друг от друга, мы не понимаем, мало знаем... Люся, девочка моя дорогая, ведь мы любим тебя, расскажи нам попросту, что случилось, что ты делаешь, как живешь. Мы рады понять тебя. Разве не веришь, что я люблю тебя, сестренка? Вся ты мне мила, ручки твои узкие люблю, и ресницы, и черный завиток около уха... Ты сердисься?

Люся побледнела и улыбнулась. Помолчав, она проговорила виновато:

– Да, конечно, мы отвыкли друг от друга. Я вас понимаю, но захотите ли вы меня понять? А рассказывать почти нечего...

Она рассказала, немногословно и почти сухо, что живет там же, с матерью покойного мужа, с его сестрой и братом, Антоном Семеновичем Меньшиным. Антон Семенович, филолог, не остался при университете, а открыл не так давно школу, из которой думает впоследствии сделать образцовое учебное заведение, новое и живое. Тут же основан журнал для юношества, который ведется тоже Антоном Семеновичем.

– Журнал наш – очень интересное дело, широко поставленное. Для юношества, но, в сущности, он имеет общеобразовательный характер. Разве все наше общество не юно?

– Ты говоришь – «наш» журнал, Люся, – перебил ее Беляев. – Ты тоже там участвуешь?

– Приходится работать. Что могу. Иногда пишу заметки, роюсь в книгах. И Тоня пишет мало, он только ведет дело. В школе же я преподаю рисование. У меня только что был урок... Оттого я опоздала к вам немного.

Беляев глядел на Люсю и растерянно молчал. Наконец произнес неловко:

– Так ты много работаешь, моя девочка? Вот и похудела. Ну хорошо, хорошо...

Люся нетерпеливо усмехнулась.

– Ах, Боже мой, как это скучно! Федя, сделай милость, не смотри на меня такими глазами! Почему самые простые вещи тебе кажутся ужасными? Алексей Иванович в молчаливом негодовании... Знаете, тут есть какая-то изломанность. Вы негодуете – на что? Смешно сказать! Или не хорошо делать дело, которое нужно всем, важно, полезно и которое интересует?

– Нет, не то, – тихо произнес Новиков. – Мне только странно... Вы – и точно не вы.

– Плохо знали меня, вот и все! – и Люся поднялась, рассмеявшись. – До свиданья, мне пора. Приходите вечером оба ко мне. Я сегодня свободнее.

– Люся, постой, – сказал Беляев. – Постой, скажи: ну, а то дело, наше, о котором мы вместе, втроем, думали, – оно разве не «всем нужное»? И не самое первое, не прежде всех дел, не самое всем нужное? Помнишь, мы...

– Ах, помню, помню! Ради Бога, Федя! Потом поговорим! И постараемся понять друг друга. Потом, пожалуйста!

У нее сжались губы, лицо побледнело. Беляев замолк. Когда друзья остались одни, Федор Анатольевич робко посмотрел на Алексея.

– Что это? – произнес он. – Мне все кажется, что я с ума сошел. Право, мы с тобой сумасшедшие. Я в нее – вижу теперь – больше, чем в себя и тебя, верил. И верю. Как же так?

– Не знаю, что тебе сказать, друг, – отозвался Новиков. – Подожди. Узнаем. Посмотрим.

III

Беляев и Новиков нашли себе квартиру на тихой Кирочной улице, три громадные, пустоватые комнаты с длинными окнами, в первом этаже. Всякими практическими делами заведовал Алексей Иванович. Хотя и у него нередко выходила путаница, но так уж повелось, что и квартиры нанимал, и деньгами общими распорядился именно Алексей Иванович.

Теперь же, после свидания с сестрой и неожиданного разговора – Беляев совсем растерялся. Он рассчитывал, что в Петербурге они поселятся вместе, как жили за границей, до весны, – а потом поедут вместе в N, работать. Новиков отнесся к делу мирно.

– Зачем тревожить Елену Анатольевну? Там, к весне, все определится. Пока же станем работать, у меня столько эскизов неконченных. Хлопоты предстоят: ведь очень бы хотелось, чтобы нам действительно поручили какие-нибудь работы по восстановлению N-ского собора. Можно, конечно, и так поехать, да и не только в N, но лучше бы взглянуть на дело ближе, серьезнее. Нам такая школа нужна.

Алексей Иванович кончил петербургскую Академию и сохранил кое-какие связи. Он принялся хлопотать. Беляев засел за довольно скучные проекты и планы – парижский заказ, который надо было кончить к весне.

Вечерами друзья сидели одни. Люся приходила редко и после того первого раза она точно избегала разговоров по душе. Так все и лежало между ними невыясненным, непонятным. Бывали друзья и у нее; но там, в редакции, теснилось столько народу, что и вовсе разговаривать было нельзя.

В один темный и мокрый вечер, уже в феврале Беляев предложил Алексею Ивановичу навестить Люсю.

– Целую неделю не видались. Здорова ли?

В редакции все было совершенно как всегда. Громадная, низковатая и темноватая комната; посередине – длинный чайный стол. Квартира была большая, но сидели всегда в первой комнате. Народ приходил и уходил. Худые, пожилые дамы в черных платьях, молодые субъекты в тужурках с кожаными поясами, критики, профессор, преподаватели...

Алексей Иванович и Беляев сели на конце стола, около Мери, которая разливала чай. Мери была молоденькая, черномазая курсистка, сестра Антона Семеновича Меньшина, директора и основателя школы, редактора юношеского журнала.

Молодой, веселый и уверенный голос Меньшина еще раздавался в соседней комнате; через минуту он вошел в столовую, шумно поздоровался с Беляевым и Алексеем Ивановичем и сел на свое место, рядом с Люсей, на другом конце стола.

На Меньшина отрадно было смотреть. Живой, молодой, весь какой-то внутренне упругий, без тени сомнения в правильности всего, что он делал, каждого своего движения или слова, – он казался успокоительным и совершенным. Мыслей у него, вероятно, и не было никаких, потому что они естественно и тотчас же претворялись в действия. Если он говорил о том, что нужно сделать, то выходило всякий раз, что это уже и делалось. Возражения он выслушивал, но вряд ли их слышал, да ему редко кто и возражал: несогласные с ним от него отставали, вероятно, – потому что несогласных около него не было. Да и как-то тянуло быть с ним согласным, не думать, а делать то, что он, с такой ясной уверенностью, делал. Его любила самая строптивая молодежь, хотя он далеко не был «крайним», – ведь «крайность» невоплотима, а все убеждения Меньшина беспрерывно выливались у него в соответственные жизненные формы. И это было хорошо, и успокаивало, и давало отраду.

И наружность Антона Семеновича была соответственная. Он отнюдь не походил на мрачных, непричесанных и грубых «честных деятелей» прошлого столетия. Это была совсем новая «светлая личность». Здоровое, приятное, широкое лицо, бритое, как у актера, волна золоти-

стых волос надо лбом, уверенная складка детски припухлых губ, – и такой весь крепкий, хороший, вымытый, веселый. От бодрости его и другим становилось весело. Он казался немного избалованным, да его, вероятно, и баловали, нехотя. Одна Люся говорила с ним немного капризным тоном.

Тотчас же он стал рассказывать что-то интересное о школе, о том, как приезжал попечитель. Говорил громко, громко смеялся. Все слушали во внимательном молчании. Вдруг Меньший перебил себя.

– Люся, а ты сделала, что я просил? Исправила заметку?

– Я?.. Вот Тихон Иванович сделает...

Тихон Иванович Лосев, милый человек с бородкой, худощавый и синеглазый, внимательнее и благоговейнее других смотревший на Люсю и Меньшина, вдруг вспыхнул:

– А что же вы сами, Елена Анатольевна? Это странно. Я готов, – но ведь я не сумею...

– Ничего, она сделает завтра, – спокойно сказал Меньший. – А вы, Тихон Иванович, завтра лучше за образцами съездите.

Мери, полускрытая самоваром, тихонько сказала Беляеву.

– Знаете, Люся удивительная помощница Тоне! Мы ее браним, что она ленится, а, в сущности, они двое только и работают. Тоня – по натуре инициатор, у него все кипит, но помощники и ему нужны.

Алексей Иванович услышал и сказал, тоже не громко:

– Я давно знаю Елену Анатольевну и никогда не подозревал в ней педагогических способностей.

Мери улыбнулась.

– Да и мы сначала не подозревали. Она приехала из-за границы совсем другая. Тоня, да и мы все смотрели на нее иначе – художница, скульптор... Что-то чуждое. А потом настоящее дело ее захватило. Мы очень рады за нее.

– И я рад, если она довольна, – проговорил Беляев. Мери опять усмехнулась.

– Ну, вы-то не рады, – сказала она не без лукавства. – Я знаю, вы и ваш приятель осуждаете ее за то, что она бросила свою скульптуру. Вы – художники, мечтатели, для вас выше искусства ничего нет. На практическое дело вы всегда будете смотреть с некоторым презрением.

Алексей Иванович сказал с серьезной искренностью:

– Нет, Марья Семеновна, дело ваше, и школа, и журнал – хорошее дело. Да вопрос не в этом... Скажите, вы видели какие-нибудь скульптурные работы Елены Анатольевны?

– Видела... что-то такое.

Разговор их стал громче. Люся к нему уже давно прислушивалась. Меньший тоже повернул голову и спросил:

– О чем это вы рассуждаете? Алексей Иванович взглянул на него.

– А вот, о том, что всякое хорошее дело – хорошо. Ужасно мне и Федору Анатольевичу ваше дело нравится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.